

Князь – страстотерпец – святой: Семантический архетип литературных памятников о князьях Вячеславе-Вацлаве и Борисе и Глебе

Сопоставление житийных произведений о чешском князе Вячеславе-Вацлаве с агиографическими текстами, посвященными русским князьям Борису и Глебу, проводилось неоднократно¹. Основанием для такого сравнения было упоминание в "Сказании о Борисе и Глебе" о том, что Борис "помышляеть же мучение и страсть /.../ святого Вячеслава, подобно же сему бывшу убийству /.../" /4; 284/². Кроме того, как установил Н.Ингхэм, в описании чудес Бориса и Глеба с узниками в темнице /"Сказание о чудесах Романа и Давыда", "Чтение о Борисе и Глебе" Нестора/ отразилось влияние вацлавских текстов; причем это описание ближе не к славянскому житию Вячеслава с чудесами /так называемой "Легенде Никольского"/, а к латинским памятникам: "*Crescente fide*" и так называемой легенде Кристиана, что заставляет предположить существование на Руси /или еще в Чехии/ не дошедших до нас славянских житий Вячеслава, близких к латинским /5/.

Близость древнечешских и древнерусских произведений не случайна. По характеристике С.Матхаузеровой, "они /жития Вячеслава, его бабки Людмилы, Бориса и Глеба. – А.Р./ моделировали ситуацию зарождения раннефеодальных славянских государств, и это, кроме собственно культовых функций, обусловило особенное значение прославления мучеников. Легенда о злодее Болеславе и мученике Вячеславе была распространена на Руси, потому что выполняла важную нравственную функцию" /6; 46/.

Б.Н.Флоря в результате развернутого сопоставления житий Вячеслава и "Сказания" и "Чтения" о Борисе и Глебе пришел к выводу, что серьезных следов воздействия чешских произведений в русских текстах нет /в борисоглебских памятниках отсутствует аскетическая трактовка князя – "Сказание" или аскетизм князя обрисован без стиливых совпадений с чешскими памятниками; отсутствует мотив борьбы с язычеством; наконец, в легендах о Вячеславе нет следов той политической проблематики, которая характерна для

борисоглебского цикла /7; 84, 87³.

Выводы Б.Н.Флори были довольно убедительно ^{опре-} отвергнуты Н.Ингхэмом. Американский исследователь указал, что Б.Н.Флори при сопоставлении с русскими житиями неоправданно ограничился почти исключительно "Легендой Никольского" /вторым славянским житием Вячеслава/, в то время как "Востокская легенда" /первое славянское житие Вячеслава/ не содержит сильного аскетического элемента. Главное же, по мнению Н.Ингхэма, в славянских житиях Вячеслава и Бориса и Глеба сходны нарративная схема, "сюжет" /plot /9; 36-39/. Так, в чешских и русских памятниках совпадают такие эпизоды, как: тайное совещание брата-убийцы с приближенными, лицемерие и обман, с помощью которых убийца привлекает святого в место предполагаемого нападения, предупреждение святого о заговоре, которым тот пренебрегает, место убийства, далекое от территории, подвластной святому, убийство, совершаемое утром, после ночных молитв страстотерпца. Они не являются, в отличие от многих других общих элементов вацлавских и борисоглебских житий, отражением архетипа - евангельского рассказа о тайной вечере и крестной смерти Христа. "Показательно, что, выстроенные в единую модель /pattern /, нарративную схему, они уникальны /.../. Если даже поразительная похожесть сюжетов Вячеслава и русских князей - не более, чем совпадение, - что очень маловероятно, - эта похожесть была очевидной для киевских книжников, которые обратились к истории Вячеслава как к прецеденту" /9; 38/. Отсутствие прямых, дословных текстуальных совпадений, в точках зрения Н.Ингхэма, еще не свидетельствует о невозможности влияния древнечешских произведений на русские жития.

Строго говоря, утверждения Н.Ингхэма, требуют некоторой корректировки: совпадающие эпизоды в чешских и русских житиях, теоретически, могли возникнуть независимо. Идентична прежде всего стоявшая за всеми вацлавскими и борисоглебскими памятниками "ментальная схема" /см. об этом ниже/. Тем не менее, воздействие чешской агиографии на русские жития и глубокое внутреннее родство этих памятников бесспорны.

Слово "воздействие", однако, не вполне подходит к этому контексту, как указал Н.Ингхэм: "Привычные выражения "заимствование", "влияние" и "подражание" неточны, когда употребляются при описании распространения культурных феноменов того времени

в пространстве, ныне разделенном национальными границами" /9; 32/. Ингхэм опирался на соображения Р.Ликкю, согласно которому термин "влияние" не в состоянии отделить "общие, экстратекстуальные парадигматические инварианты от конкретных, контекстуально обусловленных компонентов литературного высказывания /performance /". /10; 631/. Вместо терминов "заимствование" /borrowing/

и "подражание" /imitation / Н.Ингхэм предложил - "преемственность" /continuity /.

По моему мнению, один из продуктивных подходов к изучению агиографических произведений заключается в восстановлении их семантического архетипа, то есть заложенной в них "ментальной парадигмы", "характера", "образа" святости, мотивов прославления и канонизации. Такой подход особенно существен, поскольку изучение средневековой /в частности, древнерусской/ словесности с точки зрения жанра как собственно категории поэтики связан с большими трудностями⁴.

Семантический архетип житий Вячеслава и Бориса и Глеба может быть кратко определен как повествование о правителе - "праведном и невинном страдальце", воплощающем идеал христианского непротивления, добровольно принимающем смерть не за исповедание веры, но в подражание страданиям Христа /9; 39/. Утверждение Г.А.Седотова о Борисе и Глебе как выразителях особого типа чистоты русской святости⁵, повторенное иеромонахом Иоанном/Кологривовым/ /19; 21-27/ на эту характеристику опирается и В.Н.Топоров в своей работе, посвященной Борису и Глебу и русской святости /20/ / в свете последних западных славистических работ представляется неверным. Как показал Н.Ингхэм, правитель-мученик - явление не только не исключительно русское, но и не исключительно славянское; этот тип святого встречается и на германском Западе /21/.

Возможно, и сами Борис и Глеб были известны на Западе: по интересному наблюдению Г.Кругового, борисоглебские сказания отразились во французском романе "La Queste del Saint Graal"

из цикла о короле Артуре и перешли из него в роман Томаса Мэлори "Смерть Артура" /история рыцаря Bohort's'a/Bors'a /22/. Г.Круговской предполагает возможное чешское посредничество в проникновении житий Бориса и Глеба на

Запад⁶; в Западной Европе сказания о Борисе и Глебе могли вызвать особый интерес у еретиков замка Монтефорте, в извращенной форме исповедовавших добровольное принятие смерти /22; 368/.

Соответственно, реконструкция семантического архетипа вацлавских и борисоглебских житий, предложенная автором этой статьи, отчасти, может быть применена и к другим текстам. Ограничение ряда сопоставляемых текстов лишь чешскими и русскими памятниками носит достаточно условный характер.

В исследованиях, посвященных борисоглебскому циклу, неоднократно поднимался вопрос о характере соотношения княжеского сана и святости братьев⁷/17/. Г.П.Федотову принадлежит тонкое наблюдение о том, что княжеская святость исчезает на Руси пропорционально возрастанию автократического начала власти. В первом веке русской истории несколько князей /в частности, за их служение Русской земле/, как защитники и "собиратели", были причислены к лику святых. С усилением самодержавия из князей московского периода не был канонизирован никто. Наблюдения Г.П.Федотова могут быть дополнены. Если в домонгольский период только несколько князей были канонизированы не как мученики за веру, а как невинно убиенные /"страстотерпцы"/, то в московское время мы встречаем святых-не-князей - безвинно убиенных /монах Адриан Полохонский/ и до срока умерших /умерших неестественной смертью и в этом отношении близких к страстотерпцам/, - утонувших в бурю /крестьяне Иоанн и Логгин Яренские/ или погибших во время грозы /крестьянин, отрок Артемий Веркольский/⁸ и в то же время неходим святых-страстотерпцев-князей.

Г.П.Федотов объяснял исчезновение княжеского типа святости тем, что князь канонизировался за общественное служение земле, а нарождающееся самодержавие утверждало самоценность сана государя⁹. Это суждение может быть развито. В Московской Руси начинал сакрализоваться сан правителя, становящегося как бы "наместником Бога" и самовластно узурпирующего права церковного иерарха⁹; святость же по существу своему имеет личностный характер.

Более сложный вопрос: почему до московского периода не было святых /не монахов/ вне княжеского рода?¹⁰ Для начала можно предположить, что признание святости страстотерпца в ранние периоды русской истории как-то связывалось с его княжеским саном,

хотя особой сакрализации сана, как в Московской Руси примерно со второй половины XV в., не было¹¹. В последующее время подвиг страстотерпца теряет прикрепленность к фигуре князя, и становится возможным прославление святых мучеников не княжеского достоинства, то есть почитается уже только сам святой как личность¹².

В славянском житии Вячеслава /"Востоковской легенде"/ содержится описание обряда пострижин Вячеслава. Ритуал пострижин-языческий, но в "Востоковской легенде" он христианизирован:

"Ее же князь велик славон, в Чехах живий именем Боротислав и жена его Дорогмири. Родиста же сына первенца и, яко крестиста и, нарекоша имя ему Вячеслав. И възрасте отрок, яко бы уяти ему волос, и призва Боротислав князь епископа етера с всем клиросом. И певшим литургию в церкви святныя Мариа, и взем отрока, постави на степени пред олтарем и благослови и се рек: "Господь Иисус Христос благослови отрока се благословением, им же благословил еси вся праредники твоя". И постригоша князи ии.

Тем же, мним, яко убо благословением епископа но молитвами благоверных нача отрок рости, благодатию божиею храним" /I; 36/.

В новом, христианском сознании княжеские пострижины приобрели характер церковного обряда, как бы предваряющего вокняжение, начало "земного" служения Богу. Обряд пострижин, безусловно, ассоциировался с ветхозаветным помазанием царя и как бы включал в себя будущую интронизацию. /Характерно, что о самом вокняжении Вячеслава по смерти его отца в "Востоковской легенде" лишь кратко сообщается/¹³. Воспринимаемая составителем жития как более важная процедура, пострижины как бы означали вступление ставшего "взрослым" князя в "семью" князей, в княжеское братство¹⁴.

Сходный религиозный характер, возможно, имели пострижины и на Руси /упоминания о пострижинах князей-отроков в летописях относятся лишь к XII и началу XIII в., но они, бесспорно, совершались и в более раннее время; сведения об этом не фиксировались летописцем, вероятно, именно из-за распространенности обряда/.

В анализе семантического наполнения образа князя в древне-чешском и древнерусском культурном сознании многое открывает сопоставление Вячеслава и Владимира Святого. Эта параллель на-

правляется сама собой: правительница /и по некоторым сведениям крестительница Чехии/, святая мученица Людмила была бабкою св.Вячеслава, поддерживавшего и распространявшего христианство и борвшегося с язычеством; сходным образом, бабкою св.Владимира, крестителя Руси, была первая русская христианка из княжеского рода, Сльба. "/.../ Исторический параллелизм между парой русских святых правителей, бабушки и внука, и чешской парой /.../ поразителей", - заметил Р.О.Якобсон /36; 52/. Он предположил, что в похвале княгине Ольге в "Повести временных лет" под 969 г. читается цитата из латинской гомилии "*Homelia in festo sancte Ludmille*" или ее церковнославянского прототипа /36; 52-53/; /37/; /Ср./38; 332/. По его гипотезе, составитель первой редакции "Повести временных лет", Нестор /обыкновенно отождествляемый с автором "Чтения о Борисе и Глебе"/ обращался и к несохранившемуся славянскому, чешскому тексту "Привилегия моравской церкви". Существование этого гипотетического чешского памятника в таком виде, как его реконструирует Р.О.Якобсон, разделяется не всеми учеными /критику этой позиции предложил О.Кралик /39/, /40/, но сами по себе обнаруженные Р.О.Якобсоном параллели довольно убедительны.

Если произведения, посвященные св.Людмиле, отразились в похвале св.Ольге в "Повести временных лет", то реминисценций из вацлавских житий мы вправе ожидать в рассказах летописи о св.Владимире. Блок известий об Сльге и Владимире в основе своей /наиболее значительная позднейшая вставка - Корсунская легенда/ восходит, по А.А.Шахматову, к предполагаемому им Древнейшему своду, составленному около 1037 г./41/. Д.С.Лихачев выступил с идеей, что произведение, называемое А.А.Шахматовым Древнейшим сводом, посвящено преимущественно приготовлению к принятию христианства и крещению Руси; Д.С.Лихачев обозначил этот текст как "Сказание о распространении христианства на Руси" /42/, /43/.

Исходя из гипотезы о Древнейшем своде" - "Сказании о распространении христианства...", тем более следует ожидать каких-то цитат из вацлавских житий в рассказах о Владимире Святом, если цитата из текста, связанного с Людмилой, встречается в летописном некрологе св.Ольги. Чехия и Русь были культурно и политически близкими государствами при Владимире; как полагал,

в частности, А.Е.Флоровский, опираясь на мнение С.С.Голубинского, у Владимира были две жены — "чехини", христианки, и, возможно, именно они убедили русского князя принять новую веру /44; 42/.

Отсутствие в древнерусских текстах сопоставления русских князей — Ольги и Владимира — с чешскими — Гедмилой и Вячеславом — может объясняться тем, что эта параллель была вытеснена в создании древнерусских книжников другой, значимой в борьбе и сопоставлении с Византией за равное "христианское достоинство" ¹⁶. Ольга и Владимир — свв. императрица Елена и ее сын император Константин Великий /"Слово о законе и благодати" митрополита Илариона, "Память и похвала князю Владимиру" Иакова мниха, "Повесть временных лет"/.

Следы влияния вацлавских житий на летописный рассказ о св. Владимире предположил Н.А.Никольский; в летописной статье 996 г. слова о Владимире "И живяше Володимир по устроению отню и дедню" он истолковал как цитату из вацлавских славянских житий, в которых также встречается слово "устроение" /47; 90-91/. Вряд ли это так, — скорее здесь не более, чем совпадение слов ¹⁶. Тем не менее, рассказ о Владимире под 996 г. обнаруживает другие явные параллели с вторым славянским житием Вячеслава /"Легендой Никольского"/, хотя назвать их бесспорными заимствованиями было бы, возможно, слишком смело.

"Живяше же Володимир в страхе Божьм. И умножиша ся зело разбоеве, и реша епископи Володимеру: "Се умножишася разбойници; почто не казниши их?" Он же рече им: "Бояся греха". Они же реша ему: "Ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на милование. Достойно ти казнити разбойника, не со испытном" /4; 140, 142/.

А.В.Карташев /48; 128-129/ и А.Власто /49; 266/ видели в отказе Владимира казнить разбойников свидетельство особого христианского милосердия и любви к ближнему. Между тем этот рассказ о Владимире перекликается с рассказом "Легенды Никольского" о Вячеславе, который "и людем себе порученным противу сыгрешению казнити стыдяшеся, аще ли достойнаго закона лютость не твори, любя греха в том блудешеся. Но се размышление не долго на помы предели размыслив, тако путь прав мудро восхитив, да сего Земьски

творити не опустился бы либо ли онаго к небесным ради простираясь от себе, нещевати на будущая не ужаснулся бы"/I; 73-74/.

Таким образом, Вячеслав и Владимир обложены не только как миссионеры, но и как правители, принимающие на себя тяжелое бремя земного служения /"Друг дружка бремена понесеть"/I; 75; ср. Матф., 7; I; Гал., 6; 2, 5/. Если в следовании Христову завету любви к ближнему князья все же ограничены земным законом, предписывающим карать разбойников, то в помощи ближнему, обязанности напоить и накормить его они очевидно уподобляются Христу.

Всякому приходившему к нему помогает Вячеслав. Он заботится и о людях, и о церкви, приготовляя вино и просфоры для причастия. Владимир, приказывающий развозить по Киеву хлеба, мясо, рыбу и медь для народа, напоминает о Христе, накормившем народ хлебами и рыбами. Пирь, устраиваемые Владимиром, имели, может быть, религиозный смысл, генетически восходящий к языческим русским и скандинавским обрядам; религиозный характер пиров ощущался летописцем, выделившим их как особенное деяние Владимира-христианина; с христианской точки зрения, пирь Владимира как бы восходят к Тайной вечере /князь на пиру как бы символизирует Христа/ и к трапезе любви первых христиан — агаве; на пиру преодолевается дистанция между князем и подданными.

Особое значение раздаяния еды и питья еще более отчетливо выступает в "Повести об убении Андрея Боголюбского"/Ипатьевская летопись" под 1174 г./, в описании, восходящем к летописной статье 996 г. о Владимире /53; 326, 328/.

Религиозный ореол праздников Владимира выделен в "Памяти и похвале князю Владимиру" Иакова мниха¹⁸: "И праздноваше светло праздники господския, три трапезы поставляше: первую митрополиту с епископи и с черноризце и с попы, вторую нищим и убогим, третью себе и бояром своим, подобяся царем святым блаженным князь Володимир пророку Давиду, царю Езекию, и треблаженному Иосифу, и великому Костянтину, иже избраша и изволиша Божию закон боле всего и послужиха Богу всим сердцем и получиша милость Божию и наследиха рай и приняша царство небесное и почиха с всеми святыми, угожьшими Богу. Тако же блаженный князь Володимир послужив Богу всим сердцем и всею душою"/55; 70/.

Параллели с другими властителями-святыми следуют как бы непосредственно из упоминания с пирях Владимира. Такой странный

переход, возможно, объясняется не только неискусностью составителя "памяти и похвалы". Параллель с ветхозаветными царями как бы рождает сопоставление: завет с русской землей, божественная забота о Руси подобны завету, заключаемому Богом с еврейским народом и его царями; но Русь — участница не Ветхого, а Нового, благодатного завета¹⁹. Киевские пиры Владимира, по-видимому, ассоциировались с ветхозаветными празднествами, трапезами, но христиански переосмысленными²⁰.

В культурной парадигме, восстанавливаемой по вацлавским и борисоглебским житиям и близким к ним повестям об убийении князя, поступки истинного князя воспринимались как "келотическое" подражание Христу, увенчанное, как наградой, мученическим венцом /"Легенда Никольского" и, в меньшей мере, "Востоковская легенда", "Чтение о Борисе и Глебе", "Повесть об убийении Андрея Боголюбского"/. В случае святого Владимира мученический венец достался не ему /хотя в "Памяти и похвале..." Иакова мниха упомянут венец, полученный Владимиром от Бога, и сам князь назван "агнцем"/, а его сыновьям — Борису и Глебу. Но в древнерусских произведениях образ Владимира как бы сливался с образами его сыновей²¹, — так что Владимир прославлялся не только как креститель Руси, но и как отец святых мучеников: "Радуися, Володимире, прими венец от вседержителя Бога /.../ Радуися, честное древо самого рая, иже возрасти нам святеи леторасль святуу мученику Бориса и Глеба, от нею женыне сынови рускыи насыщаются, приемлюще недугом ищеление" /краткая проложная редакция жития св. Владимира /54;

15/.

И в текстах "владимировского" цикла, и в житиях Вячеслава и Бориса и Глеба в основе поступков святого князя лежит келотическое самоумаление князя, смиренное и любовное служение Богу и ближнему: Вячеслав и Владимир привечают ближних и питают их, Борис и Глеб, не желая пролить крови подданных брата Святополка и своих подданных, не сопротивляются убийству. Самоумаление князя проявляется в преодолении черт, свойственных самому княжескому сану — привязанности к мирскому богатству, гордости, жадности /ср. Вячеслав, особенно в "Легенде Никольского", Борис и Глеб, а также Андрей Боголюбский, Давид Смоленский²², Владимир Василькович Волынский²³.

Уподобление княжеского служения земной жизни Христа поддерживалось представлением о князе как о носителе родового начала, предстательствующего за своих предков и потомков и за всю землю — "отчину и дядину" /ср./56/. Не случайна сквозная мотив "рода праведных" в борисоглебских житиях /"Сказание о Борисе и Глебе"/²⁴. Князь /герм.²⁵ *kuningo* /— "родовой вождь", исторически — вождь и жрец одновременно²⁵, он "глава" "тела" — Русской земли. Семантика образа князя как носителя родового начала поддерживается /в памятниках о князе Владимире/ сравнениями с библейскими царями, воспринимавшимися в Ветхом завете как представителями того или иного рода.

Показательны строки о св.Ольге, первой русской княгине-христианке в "Повести временных лет" под 955 г.: "и поучи и патриарх о вере, и рече ей: "Благословена ты в женах русских, яко возлюбил свет, а тьму остави. Благословиши ты хотять сынове русстии и в последний род внуки твоих"" /4; 74/. Русская княгиня Ольга, фактически не первая христианка на Руси, но первая — княгиня-христианка, прославляется особенно, потому что в ее лице как бы вся русская земля знакомится с светом новой веры /ср. в летописном некрологе: "Радуися, русское познание к Богу, начаток примиренью быхом"" /4; 82/. Сходным образом выражено и прославление Владимира в "Памяти и похвале..." Иакова мниха: "И вси людие Руския земли познаша Бога тобою, божественнии княже Володимере" /55; 68/.

Отношение к князю как к фигуре, "олицетворяющей", воплощающей в себе всю полноту рода и страны /потому и полученная им благодать как бы спускается и на его потомков и подданных/ прослеживается и в вацлавском культе в Чехии /ср. подробнее в/61. 187-231/.

Таким образом, князь предстает в чешской и русской агнографии древнейшего периода исполнителем особого христианского подвига, мирского служения Богу²⁷/характерно, что пострижены Вячеслава осмыслены составителем "ВЛ" как аналог монашеского пострига/. Монашеская жизнь почиталась более богоугодной /и потенциально "более святой"/, чем жизнь в миру; подобно тому, и благочестивый князь скорее, нежели мирянин, мог быть причислен к лику святых. Не случайно, в первые века христианства на Руси

неизвестны /за исключением собственно мучеников за веру, как отец и сын веряги/ не только миряне-страстотерпцы, но и вообще местные святые-миряне. /В преческой церкви существовал "тип" святого, удостоившегося канонизации за богоугодную жизнь в миру/.

Особое значение образа князя-святого проявляется в том, что в древнечешских и древнерусских агиографических памятниках ему постоянно "ипутся" архетипы-соответствия в священной истории²⁸, "подбираются" древнего христологические мотивы и символы. История убийства Бориса и Глеба обладала богатыми возможностями для подобного рода унодоблений, так как целый ряд библейских изречений /о любви к братьям/ обретал в борисоглебских житиях прямой, а не "расширительный" смысл. Борис, Глеб, Святополк и Ярослав были действительно братьями. Отношения: Борис - Глеб - их отец Владимир находили разительное соответствие в отношениях Христа и его небесного отца. /В борисоглебских текстах, как и в вацлавских, была реализована архетипическая схема убийства Авеля Каином/. Такие - не метафорические, а непосредственные совпадения борисоглебских памятников с библейскими архетипами, возможно, отчасти, объясняли включение рассказов о святых братьях в Паремю, вместе с ветхозаветными текстами. Жития Бориса и Глеба, до некоторой степени, становились не отражениями библейского архетипа, а текстами "одного уровня" с историческими книгами Ветхого завета²⁹.

Сопоставление вацлавских житий с произведениями о князе Владимире позволяет приблизительно реконструировать семантику фигуры князя как правителя. Сравнение житий чешского князя с русскими братьями с древнерусскими произведениями, условно обозначаемыми как "повести о княжеских преступлениях"³⁰ /"Повесть об убийстве Игоря Ольговича", "Повесть об убийстве Андрея Боголюбского"³¹, "Рассказ о преступлении рязанских князей"/, раскрывает смысл образа князя-страстотерпца. Мотив искушения грехов, омывших кровью убитого или претерпевшего страдания князя, присутствует во всех текстах³². В вацлавских и борисоглебских памятниках, а также в "Рассказе о преступлении рязанских князей"³³ он очевиден; в "Повести об ослеплении Василька Тербовольского" не

столь явен /слова князя о кровавой сорочке, в которой он хотел бы предстать перед Богом/³⁴. Мотив непротавления, не-бегства от грозной смерти присутствует в вацлавских житиях — "Легенде Никольского", "Crescente fida" легендах Кристиана, Гумбольта и Лаврентия³⁵/за исключением "Востоковской легенды", в которой Вячеслав не знает о готовящемся убийстве и сопротивляется брату/, борисоглебских /смерть Бориса/ и "Повести об убийении Андрея Боголюбского" /князь Андрей знает о заговоре, но не предпринимает мер против врагов/³⁶.

Но сюжетный мотив непротавления и добровольной смерти не был обязательным для "повестей о княжеских преступлениях", в героях которых летописцы видели "потенциальных" святых: в "Рассказе о преступлении рязанских князей" и в истории убийения Глеба этого мотива нет. Факультативны и мотивы любви к убийцам и всепрощения и кноти князя-жертвы. Общее и для собственно житий князей-страстотерпцев, и для "повестей о княжеских преступлениях" основание для прославления князя как святого заключается в неожиданном и вероломном убийении князя, как правило, его родственниками или приближенными. Вероломное убийение невинного князя в некоторых текстах, как в "Рассказе о преступлении рязанских князей", — это вообще единственное основание для отношения к князю как к "потенциальному" святому.

В вацлавской и борисоглебской агиографии в наиболее полном и разработанном виде воплощена схема "повести о невинном убийении князя", общая для житий князей-страстотерпцев и "повестей о княжеских преступлениях". Соппадающие элементы "сюжета" произведений в Вячеславе и Борисе и Глебе — совещание князя-врага и приближенными, злыми советниками — нападение убийц на князя на чужой для него территории — гибель князя на рассвете, в которых Н.Ингхэм видел вероятные вкрапления фрагментов вацлавских текстов в борисоглебские, восходят к архетипической схеме "вероломного убийства" и вполне могли бы зародиться в чешских и русских произведениях самостоятельно /ср. сходную "матрицу" в фольклоре/. В архетипе чешских и русских произведений об убийении князей заложена поэтика контраста и полной смены знаков /а также установления новых, противоположных отношений между знаками и означаемыми/ в процессе развертывания текста. Друг, подданный, брат

оказываются злейшими врагами, их любовь — лицемерием; место радости и мира — сценой кровавого преступления. Убийство происходит на рассвете, мрак на земле рассеивается, но в первых утренних лучах угасает святой³⁸, душа его /свет/ восходит к Богу, а над упавшим телом загорается свеча или лампада. В полном виде почти все эти мотивы содержатся только в житиях Вячеслава, но наиболее искусно некоторые из них "разыграны" в "Сказании о Борисе и Глебе". Борис и Глеб погибают в пустынных местах, на пути к Киеву, гордому-центру Русской земли³⁹, в котором вступил на престол же-брат и же-князь Святополк. Движению, пути, который проходят святые /и в прямом, и в переносном смысле слова: в пути они, особенно Борис, приготавливаются к смерти/ соответствует неподвижность, "скованность" Святополка. Борис и Глеб отдалены друг от друга /Святополк — между ними/, но "в центре" над ними — Бог и их отец Владимир, "через которых" святые и обращают друг к другу свои речи. Совершается злодейство, и приходит возмездие: теперь Святополк в движении, но не спокойном и медленном, как святые. Он бежит из Киева, "никем не гоним" и умирает "в пустыне меж Чехи и Ляхи"/4; 296/⁴⁰. Победитель Святополка и брат Бориса и Глеба Ярослав Кудрый вступает на золотой киевский престол. Тела Бориса и Глеба переносят в вышгородскую церковь св.Василия /Василий — христианское имя их отца/. Знаки и вещи приходят в⁴¹ соответствии друг другу. *Status quo* восстанавливается.

История вероломного убийства, создающая ситуацию "смены знаков" и контраста беззащитности и прикрытой лицемерием злобы, лежит в основе "повести о невинно убиенном князе", потенциально способной превратиться /и превращающейся/ в житие. Стремление князя пострадать, мотивы братской любви к убийцам усиливают мартирологическое начало в таких текстах, но не является обязательным для них. "Повесть о невинно убиенном князе" составляет своеобразный протожанр житий князей-страстотерпцев и "повестей о княжеских преступлениях"⁴²: агнобиографические тексты отличаются большей структурированностью, соотносительностью с библейскими архетипами /убийство Авеля Каином, крестная смерть Христа/; в "повестях о княжеских преступлениях" эти черты ослаблены⁴³.

С точки зрения поэтики, жития князей-страстотерпцев гораздо ближе к "повестям о княжеских преступлениях", чем к другим видам

княжеских житий /собственно мученическим, "воинским" и т.д./. Княжеские жития /кроме преподобнических, для которых княжеский сан святого может быть не существен/ роднит не сходство нарративной структуры, а фигура князя, ее особый семантический ореол /см. об этом выше/. Соответственно, можно говорить о агнографии князя-страстотерпца как о житийном "поджанре", существующем в двух разновидностях - мартирия /"Востоковская легенда" и "Минейная редакция" жития Вячеслава и "Сказание о Борисе и Глебе"/ и собственно агнобиографии /"Чтение о Борисе и Глебе" Нестора/. Вместе с тем, в отличие от других житийных "поджанров" /преподобнических, миссионерских житий/, тексты о разных князьях-страстотерпцах отличает меньшая вариативность. Строго говоря, жития князей-страстотерпцев не поддаются однозначному определению в категориях агнографического жанра.

"Повесть о княжеских преступлениях" относится к житию князя как "заготовка" к "чистовому тексту" /ср. "Повесть об убиении Андрея Боголюбского и ее так называемую "церковную переделку"/.

Дополнительным архетипическим мотивом повестей о невинно убиенном князе являются реминисценции из Книги Иова. Они присутствуют в "Сказании о Борисе и Глебе" /57; 14-15/, имя Иова вспоминают князь Игорь Ольгович /77; 350/ и Андрей Боголюбский /53; 330/. В свете сопоставления с Иовом предсмертные страдания и гибель князя предстают испытанием праведника.

Невинно убиенный князь почитался и как до срока взятый Богом /что свидетельствовало об особой праведности/, и как чистая яная жертва; почитался он и за "сораспятие" Христу, как исполнивший завет Спасителя. Но основной, общий для всех "повестей о невинном убиении", мотив был несколько иным - князь-страстотерпец прославлялся просто "за" совершенное над ним злодейское убийство⁴⁴/см. "Повесть об убиении Андрея Боголюбского"/53; 328/. Одна лишь проливаемая кровь князя свидетельствует о нем как о страстотерпце Христовом. И подобно Христу, Андрей Боголюбский умирает за людей /русский народ/ /53; 330/⁴⁵.

В восприятии мученической смерти князя, возможно, содержатся рудименты языческого представления об искупительной силе особо ценной жертвы, приносимой богам⁴⁶. Но в основном это восприятие порождено христианскими воззрениями. Сверхстрадание, переживаемое князем перед смертью, очищает его душу и помыслы, и за

муку свою он и его народ получают благодать от Бога. /Князь, как бы воплощающий в себе полноту жизни своего рода и подданных, подобен Христу, который заключает в себе все человечество/.

В ситуации невинного убийства, как она обрисована в древнерусских памятниках, не так значима личность князя-жертвы /он может быть фигурой пассивной, — ср. убитых князей в "Рассказе о преступлениях..."/, как его антагонисты. Убиваемый как бы принимает на себя накопившийся в мире "разряд" зла.

В "Сказании" и "Чтении" о Борисе и Глебе, в частности, в вацлавских житиях князя-страдальца последовательно соотносятся с библейскими прообразами и изображены как христиане, безропотно отдающие себя на смерть, чтобы не поднять руки на старшего брата и не пролить крови своих врагов и подданных. Для семантического каркаса "повести о невинно убиенном князе" достаточно было лишь "семантического ядра" — вероломного, жестокого убийства безвинного правителя. История убийства невинного князя была отрефлексирована составителями борисоглебских произведений, что, кстати, позволило последующим книжникам при написании "повестей о княжеских преступлениях" не разворачивать систему собственно христианских мотивов при изображении заклания князей, а просто называть имена Бориса и Глеба как эмблемы святого князя-страстотерпца. У истоков борисоглебских житий стояли славянские /чешского происхождения/ агиобиографии князя Вячеслава-Вацлава. Воздействие вацлавских житий на русскую письменность было облегчено тем, что в основе и чешских, и русских произведений лежал единый архетип — "повесть о убийстве невинного князя", — благословенного правителя, страстотерпца, святого.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. об этом /1; 22-30/. Особое место занимает книга Н.Н.Ильина, предположившего, что "Сказание о Борисе и Глебе" создано в результате простого "переписывания" вацлавской агиобиографии. Среди ученых эта гипотеза принята не была, как недостаточно аргументированная. См., впрочем, положительную рецензию О.Кралака /3/, присоединившегося к некоторым положениям книги Н.Н.Ильина.
2. Церковнославянские и древнерусские тексты воспроизводятся в упрощенной орфографии: "ъ" заменяется на "е", "ь" на конце слов в слабой позиции опускается.

3. Речь идет об идее подчинения младших князей старшим. См. об этом в статье /8; 87-91/.

4. См. о непродуктивности жанрового подхода к изучению древнерусской словесности /11/, а также /12; 24-25/, /13; 265/, /14/, /15/, /16/.

5. Случай Вячеслава упомянут Г.П.Федотовым, но мотива добровольного страдания Г.П.Федотов не нашел ■ его мученичестве. На самом деле, в большинстве житий /"Легенда Никольского", "Crescente fide", легенды Кристиана, Гумпольта, Лаврентия из Монте-Кассино/ этот мотив присутствует.

6. Хронология гипотетического проникновения борисоглебских житий на Запад, предложенная В.Круговым, сомнительна. Он исходит из предположения, что жития могли стать известны в Чехии и Западной Европе еще до разделения церквей в 1054 г. Однако канонизация Бориса и Глеба на Руси /ее история относится к числу "темных мест"/, согласно последним исследованиям /23/; /24; 366-377/, состоялась в 1072 г. или даже на 10 лет позднее /25/. До этого можно говорить определенно только о местном почитании.

7. Обзор работ на эту тему см. ■ /12/.

8. Ср., однако, мнение М.Чернявского о почитании князей и царей московского периода как святых /27; Р. 29-34ff/.

9. Исключение - царевич Димитрий. Однако Димитрий почитался - независимо от конкретных политических мотивов канонизации - прежде всего как невинно убитый отрок. Не принадлежит к числу князей св.Меркурий Смоленский /впрочем, в так называемой "Китежской легенде" он назван князем/. Подвиг Меркурия - подвиг не страстотерпца, а защитника христианского народа и города.

10. О сакрализации фигуры царя на Руси см.: /28/. См. также: /22/, /30/.

11. Это естественно уже хотя бы потому, что домосковская Русь не была монархией в собственном смысле слова /независимо от того, носили ли киевские князья титул "царя", как полагает, ■ честности, I.А.Рыбачев /31; 62-64, 144-145/; или слово "царь" не было устойчивой титулатурой/.

12. Употребление слова "личность" по отношению к замовосприятию средневекового человека может показаться не очень удачным. Однако "личность" - категория, обязанная своим возникновением христианству.

13. В так называемой "Минейной редакции" жития Вячеслава, вторичной по отношению к "Востоковской легенде" /22; 943/ и, вероятно, созданной на Руси /1; 60/ пострижины Вячеслава поняты как обряд интронизации /1; 60-61/, хотя о настоящей интронизации Вячеслава сообщается ниже. Имена праведников — праотцов Авраама, Исаака и Иакова и особенно императора Константина и императрицы Елены, перечисляемые в формуле епископского благословения /1; 61/, входили в семантический архетип князя-правителя на Руси. Впрочем, возможно, этот эпизод "Минейной редакции" восходит к чешскому протографу, в данном случае отличающемуся от "Востоковской легенды".

Сходный мотив есть и в латинской легенде Лаврентия о св. Вячеславе /23; 28-29/. У Лаврентия, правда, описывается крещение, но есть достаточные основания для предположения, что агнограф, не знакомый с обрядом пострижины, встретив его описание в своем источнике /близком к "Востоковской легенде"/, понял так, что речь идет о крещении. См. /34; 642-645/.

14. Ср. образ княжеской братской свечи в речи Льва Даниловича Галицкого /Ипатьевская летопись под 1288 г./ и в духовной грамоте Симеона Гордого.

15. Ср. о религиозном, сакральном смысле обряда пострижения "первых волос" у ребенка в Древней Руси /25; 168/.

16. Об этой борьбе см. особенно /45/. О религиозно-культурном смысле полемики с Византией о христианском признании Руси см. также /46/.

16^a. Н.К.Никольский бездоказательно усматривал в словах летописи "И живяше Володимир по устроенью отцю и дедню" свидетельство, что Святослав и Игорь были христианами; по мнению исследователя, приверженность Владимира "устроению" отца и деда — язычников была бы невозможна. На самом деле, выражение это означает лишь "юридическую преемственность": "по обычаю отца и деда".

17. Мотив пира встречается в вацлавских житиях. В "Легенде Никольского" и в легенде Гумбольта предсмертный пир Вячеслава приобретает характер литургического символа. О литургической и христологической символике образа Вячеслава в вацлавской агнографии см. /50/ и /9/. Сближение евхаристической трапезы-причащения, Тайной вечери и княжеского пира прослеживается в некрологе князя Василья Ростовского /Лаврентьевская летопись под 1288 г./: "Кто же

служил ему, и от той рати кто его остался, и кто его хлебъ ил и чашу пил, тот, по его животе, не можаше служити ни единому князю за его любовь /51; 170/. Впрочем, Василек, убитый иноверцами за отказ отречься от Христа, соближен со Спасителем как мученик за веру/. Генетически общая пировальная чапа была предметом языческого ритуала /52; 467-468/.

16. Ср. описание княжеских пиров в значительно более позднем памятнике - сокращенной редакции жития князя Константина Му - ромского и его сыновей Михаила и Федора /князь Михаил - также и мученик за веру - погиб в сражении с язычниками/, - составленное на основе "Памяти и похвалы князю Владимиру" /54; 103, второй паг./.

19. С этой точки зрения, дополнительный смысл приобретает в "Слове о законе и благодати" митрополита Илариона противопоставление Ветхого завета Новому.

20. Пример христианского освящения пира мы находим на Руси позднее, в братчинах купеческого братства новгородской церкви Ивана на Споках. Интересно, что инициатором организации Ивановского братства /в 1135-1136 гг./ был князь, Всеволод Мстиславич.

21. Б.Н.Флоря /7; 95/ обратил внимание на существование "тройной" иконы /с изображением Бориса, Глеба и Владимира/, написанной в XVI в. Включение Владимира в борисоглебскую иконографию было связано с восприятием его как самодержца, царственного прародителя русских государей, собственника византийских императоров: не случайно появление такой иконы именно в "самодержавном" XVI веке. Борис и Глеб, более, чем их отец, почитаемые на Руси, на "роль" "державных" святых "не подходили".

22. См. так называемое "Слово о князьях" /XII в./ - слово на день перенесения мощей Бориса и Глеба, прославляющее кротость и беззлобие князя Давыда Святославича, смерть которого Бог прославил чудесами /52; 379-344/.

23. Ипатьевская летопись под 1289 г.

24. Р.Гиккио определяет начальные слова "Сказання" - "Род правных благословитися, - рече пророк, и семя их в благословении будет" /4; 278/, цитату из Псалтыри /III; 2/ как "ключевую фразу", "лейтмотив" /57; 15/.

25. См. /58; 268-269/, /59; 140/; /60/.

26. Ср. также культ св. Олава, "вечного короля" Норвегии, также правителя-"страстотерпца" /см. описание его гибели в "Passio et miracula beati Olavi" и Хронике Ада-

ма Бременского/.

27. Славянофильская идея о служении царя земле и о власти как бремени восходит к древнерусской княжеской агиографии, в крайней мере, типологически.

28. См. об архетипичности "Сказания" и "Чтения" о Борисе и Глебе /62/ и /57, 13-16/. О библейских цитатах в летописной повести о Борисе и Глебе см. /63; 84, 95/.

29. См. /64; 105-106/.

Включение борисоглебских текстов в Паремий могло объясняться и тем, что Русь ощущала свою историю /и вообще христианскую историю/ как священную, подобную ветхозаветной израильской и иудейской, но "превосходящую" их. Ср. противопоставление Ветхого и Нового заветов в "Слове о законе и благодати". 30. Термин Д.С.Лихачева /42; 331-353/, /65; 66/. По его мнению, к "повестям о княжеских преступлениях" может быть причислено также "Сказание о Борисе и Глебе"/. Его отличие от традиционных форм агиографии - жития и мучим - Д.С.Лихачев объясняет тем, что "Сказание" "с самого начала было деформировано" политической тенденцией /65; 66/. На мой взгляд, можно говорить скорее о противоположной тенденции - подчинении нежитийной, "летописной" повествовательной основы церковной литературной традиции. Я не касаюсь крайне сложного вопроса о соотношении летописи и "Сказания". Большинство ученых считают первичным летописный текст, хотя существует и противоположное мнение / /2/, /3/, /66/ /. Считаю, что реальные связи летописи и "Сказания" вряд ли могут быть сведены к воздействию одного произведения на другое /37/. Ср., впрочем, утверждения А.Гоппа, отрицающего существование несохранившихся памятников о Борисе и Глебе /68/.

Включение в "Сказание" рассказа о битвах Ярослава со Святополком, вероятнее всего, объясняется "подражанием" ветхозаветным историческим книгам /например Книгам Царств/. Помещение фрагментов из "борисоглебских текстов" в Паремий как судно бы подтверждает это предположение.

31. Интересно, что "Повесть об убийстве Андрея Боголюбского", как показал Г.Ю.Силипповский /69/, испытала влияние вацлавской агиографии.

32. К житиям князей-страстотерпцев и "повестям о княжеских преступлениях" примыкает "Житие Михаила Тверского"; но в нем присутствует особенный мотив – самопожертвование во имя спасения своей земли.

33. См. /51; 128/.

34. Мотив искупления грехов собственной кровью содержится и в рассказе Лаврентьевской летописи под 1238 г. об убийстве татарами захваченного в плен князя Василька Ростовского /51; 144/. Характерно, что в прославлении Василька как "потенциального" святого использовано сравнение с Андреем Боголюбским. Хотя Василек и погиб от рук иноверцев, отказавшись отречься от Христа, его некролог – не похвала мученику за веру, а похвала невинно убиенному, страстотерпцу. Устойчивая парадигма "убийства князя-страстотерпца" оказалась сильнее.

35. Ср. соответствующие эпизоды в "Востоковской легенде" /1; 37/. "Легенде Никольского" /1; 81-82/, у Гумпольта, автора "*Cruciate fide*", Лаврентия и в легенде Кристиана /70; 160, 177-178, 219/. Характерно, что большинство ученых / /32/, /61; 186-191/, /71/. /72/, /73/ / считают "Востоковскую легенду" первичной по отношению к другим вацлавским памятникам.

Добавлю, что сюжетный мотив непротивления убийцам отсутствует, например, и в агиографии англосаксонского короля-страстотерпца Эдуарда Мученика "*Passio Sancti Edwardi, regis et martyris*" /74; 4/.

36. Я не касаюсь вопроса, является ли сообщение, что князь Андрей знал о готовящемся покушении на его жизнь и не принял ответных мер, "агиографической" вставкой в летописный текст. Если это и вставка, важно, что редактор не считал ее неорганичной. Впрочем, все анализируемые мною фрагменты есть и в Лаврентьевской летописи /75; 368-369, второй паг./.

37. Между прочим, А.А.Шахматов предполагал существование устной легенды об убийстве Бориса, отразившейся в рассказе летописи и "Сказания" о двух варягах-убийцах /41; 33-38/.

Наблюдения Дж.Ревелли, выделявшей совпадавшие ситуации в вацлавской и берисоглебской агиографии и интерпретировавшей эту

близость как свидетельство воздействия житий чешского князя на русские памятники /76/, вряд ли обосновывают такие выводы исследовательницы: почти все отмеченные ею сходные фрагменты — "общие места", топосы житийного жанра /исключение, может быть, мотив бегства за пределы страны и /или гибели убийц страстотерпца/.

38. Сходным образом, на рассвете, уходит и князь Владимир Засилькович в Волинской летописи /Ипатьевская летопись под 1289 г./; он не страстотерпец, умирает от болезни, но для летописца — святой. См. /51; 406/.

39. О восприятии Киева как центра русской земли см. /46; II-20/; ср. /77; 140-142/.

40. Выражение "между Чехи и Ляхи" может быть истолковано не как указание на конкретное место, а как поговорка, означавшая "нигде", "в неизвестной земле", "в пустом, выморочном месте". См. /44; 46/.

41. В "Повести об убийстве Андрея Боголюбского" семантической "переоценки" подвержены даже отдельные предметы /свеча/. Сначала рассказывается о возжигаемых князем свечах перед образами в церкви, вслед за тем описываются убийцы, со свечой в руках ищущие раненого князя. Свеча князя Андрея — истинная, богоугодная; свеча убийц — "лжняя", "анти-поминальная".

42. Семантическая "сила", продуктивность схемы "повести о невинно убиенном князе" засвидетельствована не только воздействием этой схемы на летописные рассказы об убийстве князя татарами и "вытеснении" более адекватной для такого случая формы мученичества /см. выше о Васильке Ростовском/. Показательно, прежде всего, что гибель князя в открытом бою с явным врагом /с "чужими"/ не создавала ситуации "невинного убийства" и не вызывала появления посвященных ему житий. Ср. многочисленных русских князей, погибших в битвах с татарами во время нашествия Батия, — канонизированы из них были лишь немногие и спустя несколько веков, в XVI и XVII столетиях, причем основанием для канонизации /по крайней мере, главным/ могло быть обретение мощей, а не гибель в бою с иноверцами.

43. Можно предположить, что авторы "повестей о княжеских преступлениях" ощущали недостаток канонических оснований для отношения к убитым князьям как святым. Составитель "Повести

об убиении Андрея Боголюбского", вероятно, искал такие основания в библейских и святоотеческих /цитата из Агапита, приписанная Иоанну Златоусту/ текстах, говорящих о необходимости повиновения властям и о князе как истребителе неправды /53; 334/.

О княжеских житиях, в том числе вацлавских и борисоглебских, см. также /79/ и /80/.

44. Интересно, что в проложных житиях Бориса и Глеба мотивы непротивления убийце и брату Святополку и стремления пострадать как мученики Христовы ослаблены или отсутствуют /81; 95-100/.

45. В так называемой "церковной передержке" /списки XVI-XVII вв./ "Повести об убиении Андрея Боголюбского" мысль о пролитии Андреем крови за свой народ была изъята /54; 89 второй паг./, - возможно, из-за ее канонической сомнительности или несоответствия контексту /Андрей Боголюбский не принимает смерть за своих подданных, а гибнет в результате заговора/.

46. Показательная интерпретация Е. Рейсманом убийства Глеба как ритуального /82/.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сказания о начале чешского государства и древнерусской письменности. Предисловие, комментарии и перевод А.И. Рогова. М., 1970.

2. Ильин Н.Н. Жетонская статья 6523 года и ее источник /опыт анализа/, М., 1957.

3. Kralík O. Nové práce o Povesti vremenných let // Československá rusistika 1961. n 3. №. 173-179.

4. Памятники литературы Древней Руси. XII-начало XII века. М., 1978.

5. Inghem H. Czech Hagiography in Kiev. The Prisoner Miracles of Boris and Gleb // Die Welt der Slaven. 1965. n 10. S. 166-182.

6. Matheuserová S. Cestami století: Systemové vstupy v dějinách ruské literatury. Praha, 1981 (Acta Universitatis Carolinae. Philologica Monographia. XCI-199 6).

7. Florja B.W. Václavská legenda a borisovsko-glebovský kult (sběry a rozdíly) // Československý časopis historický. 1978. Ročník. XLVI. n 1. S. 82-95.

8. Лихачев Д.С. Некоторые вопросы идеологии феодалов в литературе XI-XIII веков // ТОДРП. Т. X. М.-Л., 1954. С. 78-91.
9. Ingham N. The Martyred Prince and the Question of Slavic Cultural Continuity // *Medieval Russian Culture*. Berkeley-Los Angeles, 1984 (California Slavic Studies. Vol. 12).
10. Picchio R. Principles of Comparative Slavic-Roman Literary History // *American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists*. Vol. 2. Columbus, Ohio, 1978.
11. Ingham N. Narrative Mode and Literary Kind in Old Russia. Some Theses // *Gattung und Narration in der Alteren Slavische Literaturen*. Berlin-Wiesbaden, 1987. S. 173-184.
12. Lenhoff G. The Martyred Princes Boris and Gleb. A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts. Columbus, Ohio, 1969 (UCLA Slavic Studies. Vol. 19).
13. Picchio R. The Impact of Ecclesiastic Culture on Old Russian Literary Techniques // *Medieval Russian Culture*. P. 247-279.
14. Lenhoff G. Categories of Medieval Russian Writing // *Slavic and East European Journal*. 1987. Vol. 31. P. 259-271.
15. Lenhoff G. Toward a Theory of Prolegomenes in Medieval Russian Letters // *The Russian Review*. 1984. Vol. 43. P. 31-54.
16. Seemann K.-D. Genres and the Alterity of Old Russian Literature // *Slavic and East European Journal*. 1987. Vol. 31. P. 246-258.
17. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990 /перв. изд.: Париж, 1936/.
18. Fedotov G.P. The Russian Religious Mind: Kievan Christianity. 10th to 13th Centuries. 2nd ed. N.Y., 1962.
19. Отец Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1981.
20. Топоров В.Н. Идея святости в Древней Руси: вольная жертва как подражание Христу - "Сказание о Борисе и Глебе" // *Russian Literature*. Vol. XIV-1. 1 January 1989. Special Issue. The Millenium of Christianity in Russia-III. P. 1-102.
21. Ingham N. The Sovereign as Martyr, East and West // *Slavic and East European Journal*. 1973. Vol. 17. P. 1-17.
22. Krugovoj G. A Motif from the Old Russian Vita Sanctorum

in Arthurian Romance // Canadian Slavonic Papers. 1973.

Vol. 15. P. 351-374.

23. Алешковский М.И. "Повесть временных лет": судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971.

24. Poppe A. "Opowiadanie o męczeństwie i cudach Borusa i Gleba": Okoliczności i czas powstania utworu // Slavica Orientalis. 1969. Vol. 18. n 3-4. P. 267-292; 359-382.

25. Уханков А.Н. К вопросу о времени написания "Сказания" и "Чтения" о Борисе и Глебе // Герменевтика древнерусской литературы: XI-XIV вв. Сб. 5. М., 1992. С. 370-412.

26. Дмитриев Л.А. Литературные повести русского Севера как памятники литературы XIII-XVII вв. Л., 1973.

27. Cherniavsky M. Tsar and People: Studies in Russian Myths. New Haven, 1961.

28. Ливов В.М., Успенский Б.А. Бог и царь. Семантические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблема переводимости. М., 1987.

29. Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции нового монарха // ТОДРЛ. Т. XXXVII. Л., 1983. С. 54-78.

30. Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 201-235.

31. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. М., 1984.

32. Wéingardt M. První česká-církevnísl-ovanská legenda o sv. Václavu // Svatováclavský sborník. V Praze, 1934. D. I. S. 863-1088.

33. Laurentius monachus Cassinensis, archiepiscopus Amalfitanus. Opera. Weimar, 1973 (Monumenta historiae Germaniae. Vol. 7).

34. Třeštlík D. Václav a Berengář. Politické pozadí postrážin sv. Václava roku 915 // Český časopis historický. 1991. Ročník 89. n 5-6.

35. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. /Реликты язычества в восточнославянском культе Никола Мирликийского/. М., 1982.

36. Якобсон Р.О. Основа славянского сравнительного литера-

- туроведения /1953/ // Якобсон Р. Работы по протике. М., 19-87. С. 23-79.
37. Якобсон Р.О. Русские отголоски древнечешских памятников о Любиме // Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции. М., 1976. С. 46-50.
38. Dvornik F. Les bénédictins et la christianisation de la Russie // L'Eglise et les Slaves. Vol. 2. Chevetogne, 1954:41.
39. Кралик О. Privilegium moravienais ecclesie // Byzantino-slavica. 1940. Vol. XXI. n. 2. P. 219-257.
40. Кралик О. "Повесть временных лет" и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Любиме // ТОДРЛ. Т. XIX. М.-Л., 1963. С. 177-207.
41. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.
42. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Л., 1947.
43. Лихачев Д.С. "Повесть временных лет" // Лихачев Д. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1973. С. 22-110.
44. Флоровский А.В. Чехи и восточные славяне: Очерки по истории чешско-русских отношений /X-XVIII вв./. Т. I. v Prague, 1935 (Prague slovánskeho básta v Prague. Sv. XIII).
45. Прицелков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб., 1913.
46. Топоров В.Н. Работники одиннадцатого часа - "Слово о законе и благодати" в древнекиевские реалии // Russian Literature. Vol. XXIV-1. 1 July 1988. Special Issue. The Millennium of Christianity in Russia-II.
47. Никольский Н.К. "Повесть временных лет" как источник для истории начального периода русской письменности и культуры: к вопросу о древнейшем русском летописании. Вип. I. Л., 1930 /Сборник по русскому языку и словесности. Т. 2. Вип. I/.
48. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Paris, 1959. Т. 1.
49. Vlasto A. The Entry of Slavs into Christendom. Oxford, 1971.
50. Грехин В.А. Проблемы типологического и исторического

изучения жанра древнерусской агиографии // Методология литературоведческих исследований: Статьи о русской литературе. Прага, 1982. С. 49-64.

51. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981.

52. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.

53. Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980.

54. Серсбрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития: Обзор редакций и тексты. М., 1915.

55. Зинин А.А. Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку // Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 37. М., 1963. С. 66-75.

56. Комарович В.И. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XIII вв. // ТОДРК. Т. XVI. М., 1960. С. 84-104.

57. Fieschi E. The Function of Biblical Thematic Chans in the Literary Code of 'Slavia Orthodoxa' // Slavica Hierosolymitana. Vol. 1. Jerusalem, 1977. P. 1-31.

58. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.

59. Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т. I. М., 1938.

60. Шапов Я.Н. "Священство" и "царство" в Древней Руси в теории и на практике // Византийский вестник. Вып. 50. М., 1989. С. 131-138.

61. Jitlik D. Kosmova kronika. Praha, 1968.

62. Фредаки Д. Повторы и их функции в "Чтении о Борисе и Глебе" // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 57-67.

63. Данилевский И.Н. Библицизм "Повести временных лет" // Герменевтика древнерусской литературы: X-XVI вв. Сб. 3. М., 1982. С. 75-103.

64. Соболева Л.С. Паремийные чтения Борису и Глебу // Вопросы истории книжной культуры: Сборник научных трудов. Вып. 19. Новосибирск, 1975. С. 104-123.

65. Лихачев Д.С. Система литературных жанров Древней Руси /1963/ // Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 57-78.

66. Kralik O. Vstah Povesti vremennych let k legende o Borisu a Glebovi // Československá filistika. 1967. n 12. S. 99-102.

67. Ранчин А.М. К вопросу о текстологии Борисоглебского цикла // Вестник МГУ. Сер. IX. Филология. 1967. № I. С. 73-80.

68. Poppe A. La naissance du cult de Boris et Gleb // *Cahiers de civilisation médiévale*, X-e - XII-e siècles. Poitiers, 1981. A-24. P. 29-54.
69. Филипповский Г.Д. "Повесть об удмении Андрея Боголюбского" и русско-чешские литературные связи раннего периода // *Česko-slovenská rusistika*. 1986. Ročn. 31. n 1. S. 11-17.
70. *Fontes rerum Bohemicarum*. Vol. 2. Praha, 1872.
71. Konzal V. První slovenská legenda vládců a její "Sitz im leben" // *Studia mediaevalia Pragensia-I*. Praha, 1988. S. 113-127.
72. Slavík J. Svátý Václav a ras pecatku krest'anstvu u Slovane // *Slovenský přehled*. 1929. n 5-7.
73. Slavík J. Svátý Václav a slovenské legendy // *Сборник статей, посвященных Павлу Николаевичу Милкову*. 1859-1929. Прага, 1929.
74. Edward, King and Martyr. Ed. by Ch. Fell. Leeds, 1971.
75. Полное собрание русских летописей. Т. I. М., 1962.
76. Revelli G. La legenda di San Venceslao e lo "Skazanie o Borise i Glebe": Alcune osservazioni sui rapporti agiografici medioevali // *Ricerche Slavistiche*. Vol. XLIII-XL. 1992-1993/1. P. 209-247.
77. Лебедев Л., протокер. Богословие русской земли как образ Обетованной земли Царства Небесного: На некоторых примерах архитектурно-строительных композиций XI-XVII веков // Тысячелетие крещения Руси. М., 1989.
78. Полное собрание русских летописей. Т. 2. М., 1963.
79. Ingham N. The Limits of Secular Biography in Medieval Slavic Literature, Particularly Old Russian // *American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists*. The Hague-Paris, 1969. Vol. 2. P. 189-192.
80. Ingham N. Genre Characteristics of the Kievan Lives of Princes in Slavic and East European Perspective // *American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists*, Columbus, Ohio, 1983. Vol. 2. P. 223-237.
81. Жития свв. мучеников Бориса и Глеба и служб им. Приготовил к печати Д.И.Абрамович. Пг., 1916 /Памятники древнерусской литературы. Вып. 2/.
82. Reisman E. The Cult of Boris and Gleb: Remnant of a Varangian Tradition? // *The Russian Review*. 1978. Vol. 27. n 2. P. 141-157.